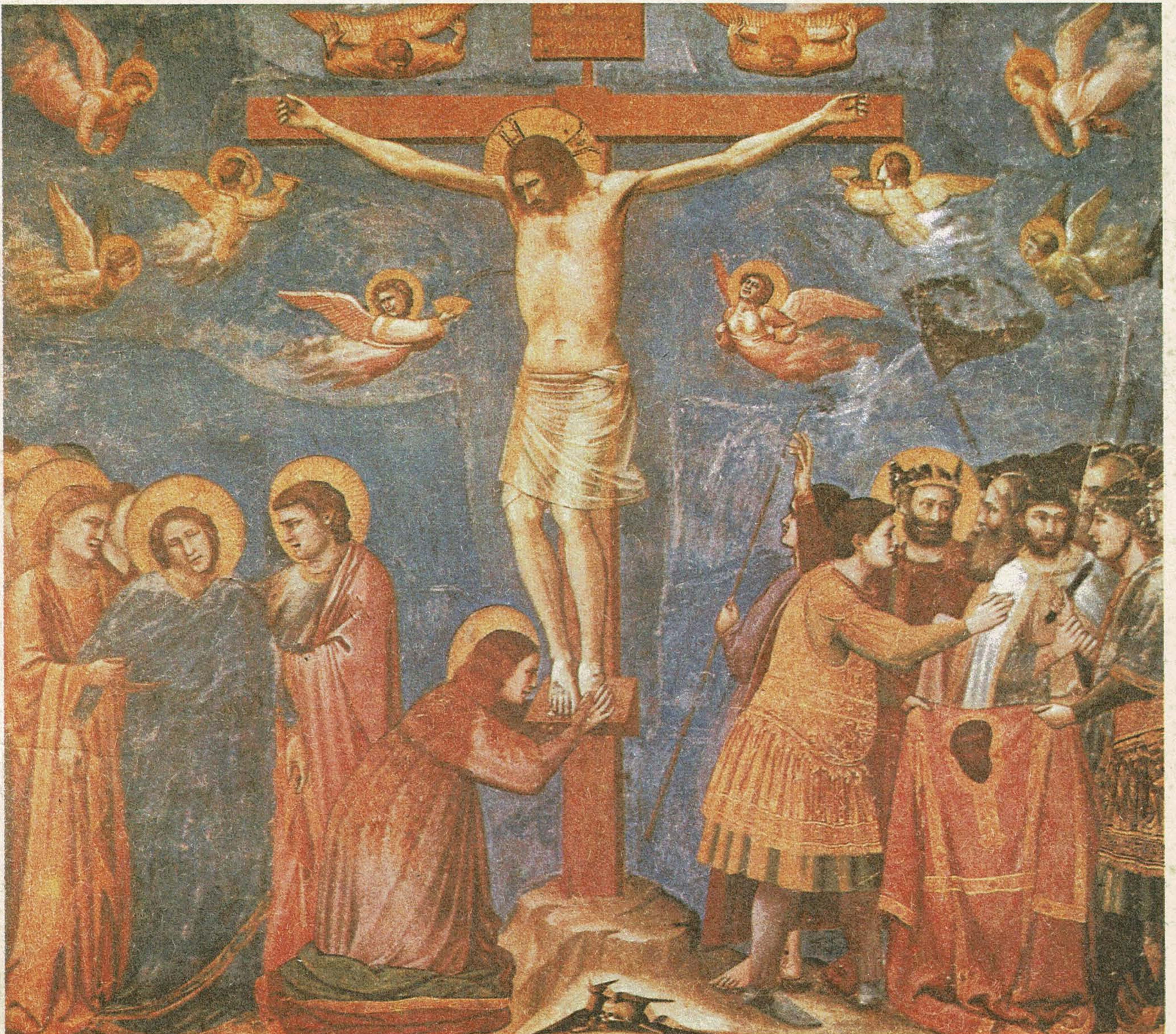


ар. 50

ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

4 '91



ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ. 1267 — 1337 гг.
Распятие. Падуя. Фрески капеллы Скровеньи. Италия.

ЮНОСТЬ



(431) 4'91

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Редакционный совет:

Председатель —
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Василий АКСЕНОВ
Анатолий АЛЕКСИН
Аркадий АРКАНОВ
Юрий БОЛДЫРЕВ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Генрих ИГИТЯН
Игорь ИРТЕНЬЕВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Алексей КОВЫЛОВ
Александр ЛАВРИН
Вячеслав ЛЕОНТЬЕВ
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Юрис ПОДНИЕКС
Юрий ПОЛЯКОВ
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Виктор РОЗОВ
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Виктор СЛАВКИН
Лев ТИМОФЕЕВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ
Юрий ЩЕРБАК
Григорий ЯВЛИНСКИЙ
Глеб ЯКУНИН

В НОМЕРЕ:

Новая повесть Бориса ВАСИЛЬЕВА
«Капля за каплей»



СТИХИ:

Александра БЕЛЯКОВА (15)
Семена ЛИПКИНА (45)
Расула ГАМЗАТОВА (56)
Светланы ЗАГОВОЙ (56)
Юрия ПАШКОВА (57)
Марины КУДИМОВОЙ (57)
Романа СОЛНЦЕВА (58)
Натальи ХАТКИНОЙ (59)

Борис ЗАЙЦЕВ
«Жизнь Тургенева» (16)
Окончание.

Продолжается «РУССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» —
в ней участвует профессор
Александр ПАНЧЕНКО (34)

«КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ»
Великого Князя
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА (38)
Окончание.



Энтони БЕРДЖЕС
«Заводной апельсин» (60)
Окончание.

Памяти философа МЕРАБА МАМАРДАШВИЛИ
посвящается публикация
его последних записей (46)



Новый Манифест Редколлегии
«20-й комнаты» (89)

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН



Предлагаем вниманию наших читателей фрагменты из книги Виктора Перельмана «Театр абсурда», вышедшей в 1984 году в Нью-Йорке. Автор книги — журналист и писатель, выехал из Москвы в 1973 году в Израиль, где основал один из интереснейших журналов Русского зарубежья, «Время и мы». В настоящее время Виктор Перельман проживает в Нью-Йорке, куда вместе с ним перебралась и редакция популярного русскоязычного журнала. «Театр абсурда» — комедийно-философское повествование о скитаниях третьей волны эмиграции, имеющее под собой реальную основу — личную судьбу автора.

Часть первая РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк

Ах, как мало в нашей жизни значат цель и преднамеренность! Все определяет случай.

Так и с этой моей книгой, для которой у меня уже давно было заготовлено начало и которое я раз десять выверил в своей голове, — все получалось логичным, основательным и соответствующим теме. И я уже готов был сесть за машинку, как вдруг вмешалось совершенно комичное обстоятельство — я получил от своего старого московского знакомого курьезнейшее и неизвестно как прорвавшееся сквозь железный занавес письмо: как они там, в Москве, сидя в пивном баре Дома журналиста, рисуют мою жизнь в Нью-Йорке.

Когда-то, эдак лет двадцать пять назад, мы служили вместе с ним в многотиражной газете «За отличный рейс». И всякий раз, пока в типографии «Московской правды» печаталась наша газета, мы шли с этим моим приятелем в «поплавок» и, заказав по сто пятьдесят грамм и кружке пива, предавались мечтам, как будем прорываться в большую прессу. И с чего бы ни начинали, рано или поздно наш разговор обращался к хрущевскому зятю и фавориту Алексею Ивановичу Аджубею. При имени Аджубея глаза у Миши Блоха — так звали моего приятеля — загорались нездоровым и даже каким-то плотоядным блеском.

Позже, когда наши дороги разошлись — я ушел в «Литературку», а Миша — неизвестно куда (злые языки говорили, что он пристроился в журнале «Служба быта») и мы почти не встречались, — так вот, позже, когда я подал заявление в Израиль, Миша, как мне рассказывали, страшно упился в баре ДЖ, стал мне прочить великое будущее, но позвонить и попрощаться так и не решился.

И вот, скажите, кто бы мог предвидеть, что спустя столько лет он решится написать мне письмо — и куда? — прямо в Нью-Йорк, на Пятую авеню, в редакцию журнала, само название которого, я думаю, он никогда не произносил вслух.

Из вежливости, в начале письма он спросил, помню ли я его, и безо всякой связи с предыдущим стал расписывать слухи, которые ходят про меня в Московском Доме журналиста.

Во-первых, сразу же по приезде из Израиля в Америку я был приглашен в Вашингтон, где меня назначили советником по русским делам. В связи с этим у меня и появился собственный дом в штате Нью-Джерси. О таком офисе, как у меня, разумеется, не мог мечтать никакой Аджубей: в центре Нью-Йорка, на сто пятом этаже, в одном из тех нью-йоркских небоскребов, где, согласно газете «Правда», обделывают свои дела самые крупные воротилы Уолл-стрита. Впрочем, в этом офисе я почти не бываю, поскольку все мое время отнимает Вашингтон. А в редакции все за меня делают «негры», одним из которых и мечтал стать друг моей юности. Овеянный подобной «славой», я чувствую себя просто не вправе скрыть от историков будущего, как и в каких условиях, расположившись в Нью-Йорке, в центре мира, жил и издавался один из популярных журналов Русского зарубежья.

Итак, по порядку, вначале об офисе, который расположен в самом центре Нью-Йорка, на Пятой авеню.

Если по Сорок второй вы дойдете до Пятой авеню и, пересекши ее, свернете направо, то упретесь в знаменитый «Колумбия билдинг». Миновав мраморный вход и очутившись в отделанном бронзой мраморном лобби, вы должны будете подняться на лифте на пятый этаж (сто пятый этаж был некоторым преувеличением), затем свернуть налево и еще раз налево — и тогда вы окажетесь перед дверью, на которой вы увидите наклеенную мощную золотую цифру: 511-А, а под ней такими же золотыми буквами выведено: «ГИЛДЕСМАН ИНКОРПОРЕЙТЕД» и «АМЛЕВ ИНТЕРНЭШНЛ».

Открыв дверь, вы попадете в темный предбанник, а свернув из него направо, окажетесь в редакции международного журнала литературы и общественных проблем «Время и мы». Поскольку в Америке все измеряется на футах, я вечно путаю, сколько в нашем офисе метров и сколько футов, но боюсь, что по площади он явно уступает редакции газеты «За отличный рейс».

В редакции нашего международного журнала есть место

максимум для двух столов: один мой, то есть редактора, другой — моей правой руки и зама, она же — литсекретарь, корректор, зав. отделом писем и машинистка. Чтобы уже закончить с офисом, надо еще упомянуть о пяти громадных, поставленных друг на друга ящиках для рукописей графоманов.

В моем письменном столе также несколько ящиков, в которых для рукописей нет места. Мой стол — моя крепость, крепость против всех, кому я должен, а должен я всему миру: читателям, которые разочаровались в последних номерах, подписчикам, которые вовремя не получили журнал, авторам, которые требуют гонорара, нью-йоркской телефонной компании, фирме Ай-би-эм, Сити-банку и, конечно же, хозяину офиса мистери Гилдесману.

Переступая порог редакции, я бросаю ястребиный взгляд на стол: сколько пришло сегодня... Нет, не рукописей, уважаемый читатель, о рукописях несколькими строками ниже — а сколько пришло чеков от новых подписчиков.

Все мои друзья уже давно жаждут подписаться, но в последний момент каждому что-то мешает: один — вот напасть! — только что потерял работу, другой, напротив, только что купил за сто пятьдесят тысяч дом, третий именно вчера решил завязать и читать только по-английски, четвертый... ах, Боже, — что же случилось с четвертым? — у четвертого журнал, как назло, не влезает в почтовый ящик.

И если чеков становится все меньше, то с рукописями как раз наоборот: пяти ящиков уже не хватает, и на днях ставим в коридор шестой. Рукописи присылаются разные и большинству из них предпосланы похожие, как близнецы, авторские послания. «Дорогая, многоуважаемая редакция! Впервые я увидел ваш журнал еще в Риме и с тех пор загорелся мечтой при первой же возможности...» Нет, не подписаться на журнал загорелся наш страстный автор. О подписке уже было несколькими строками выше — а решил прислать нам свое нетленное творение, которое там, естественно, не смогли оценить и которое, как он смеет надеяться, оценят здесь, в его любимом издании.

Моя правая рука и зам, она же в прошлом ученый секретарь Комиссии по содружеству наук и тайнам творчества при Академии наук СССР, сидит от меня слева, за столом, стоящим перпендикулярно к моему. На ее столе размещено наше главное орудие производства, наша альма-матер, которую я вывез из Израиля, — электронный композер, на котором набирается наш журнал. Альма-матер — это большая пишущая машинка. Моя правая рука, естественно, ненавидит нашу альма-матер всеми фибрами своей души. «Скажите, что вам нужна обычная машинистка, — говорит она всякий раз, когда я начинаю поторапливать с набором. — Вы просто воспользовались невинностью малютки!» К моему заму я еще вернусь, а пока о прочих фирмах, по соседству с которыми размещается наш журнал.

Первая из них находится в той же комнате, что и редакция, примерно в полутора метрах от моего стола, точнее, между столом и входной дверью. Название фирмы ее президент москвич Нолик Вольман пока что держит в секрете, но даже его недоброжелатели признают, что в его руках самый сногшибательный бизнес в Нью-Йорке. Нолик решил сделать деньги на тибетской медицине и продает своим клиентам целебное мумие (за что недоброжелатели прозвали его фирму «Мумие инкорпорейтед» и, будучи неспособными к полету фантазии, пустили слух, что мумие — это просто мышинный помет). В том, что он делает на мумие миллион, у Нолика нет никаких сомнений, но пока из-за отсутствия стола сам президент в фирме почти не бывает.

По всем вопросам бизнеса редакцию консультирует президент фирмы «Амлев интернешнл» Илюша Берков (если помнит читатель, ее название золотыми буквами украшает вход в отсек 511-А). Именно ему я обязан тем, что вместе с журналом оказался в одном из самых роскошных зданий Нью-Йорка под одной крышей с воротилами Уолл-стрита. И именно он, преисполненный заботами о журнале, представил меня хозяину нашего отсека 511-А и президенту фирмы «Гилдесман инкорпорейтед» Майклу Гилдесману, уже вскользь упомянутому мной среди моих кредиторов.

По словам Илюши, который выглядит стопроцентным американцем, большего нуля в американском бизнесе, чем я, ему встречать не приходилось. Мы оба с ним гуманитари — но в отличие от меня, окончив

Колумбийский университет и расставшись с политологией, он и в бизнесе уже успел съесть собаку.

Какими делами занята фирма «Амлев интернешнл», я представляю довольно смутно. Но от моего взгляда не ускользнуло, однако, что, сопровождая меня на встречу к Майклу Гилдесману, Илюша вошел в наше мраморное лобби походкой начинающего воротилы Уолл-стрита.

Но вот наступило время представить главное лицо нашего отсека, равно как и главное действующее лицо первой сцены моего повествования, президента фирмы «Гилдесман инкорпорейтед» Майкла Гилдесмана.

Как же злобно клеветают на Америку те, кто утверждает, что здесь не в моде русский язык! «Вы знаете что — первое, что я услышал от Майкла Гилдесмана, — можете называть меня Матвеем Абрамовичем». Я понял, что в свои восемьдесят восемь лет Матвей Абрамович запомнил некоторые буквы русского алфавита. Но это ничуть не повлияло на его колоритную личность. И хотя его походка не наводит на мысль о мощи мирового капитала, по-моему, он единственный из нас, чей облик несет на себе черты воротилы Уолл-стрита.

Чтобы убедиться в этом, достаточно понаблюдать, как два раза в неделю он появляется в своем офисе. Никогда в жизни без сопровождения (как и полагается акуле с Уолл-стрита), и всегда в сопровождении одного и того же лица — высокого черного официанта (нашего единственного безгонорарного негра!) с подносом на элегантно вытянутой руке. Один мерно плывет за другим. Впереди Матвей Абрамович, вслед за ним поднос со множеством тарелочек, наполненных зеленью, за ним безгонорарный негр, и завершает шествие старый еврей в ермолке со счетной машинкой в руках — бухгалтер компании «Гилдесман инкорпорейтед». Матвей Абрамович шумно жует салат, бухгалтер считает на счетной машинке. Что он все время считает? Ах, не задавайте мне вопросов, на которые никто в мире, кроме Матвея Абрамовича и его бухгалтера, не сможет ответить.

Великодушно разрешив называть себя Матвеем Абрамовичем, он оглядел меня добрым стариковским взглядом и сказал: «Вы, наверное, уже слышали от моего друга Беркова, какое у меня доброе сердце». И попросил за мой будущий офис 550 долларов. Я сказал: 350. Матвей Абрамович — 450. Я сказал: 400. Матвей Абрамович — 420. И попросил первую плату внести сейчас же. А в дальнейшем — 1-го числа каждого месяца.

«Знаете, я такой человек, что всегда помогаю людям», — заключил он и стал подозрительно рассматривать мой чек. Затем он спрятал его в карман и сказал, что с этой минуты я, как и Илья Берков, становлюсь его лучшим другом. Если швейцар спросит, куда я иду, я должен послать его к цорту и сказать, что иду к своему большому другу мистери Гилдесману. «А как же журнал «Время и мы»?» — «Посылайте всех к цорту. Вы мой друг — и кончено. Так же, как мой друг Илья Берков». — «А как же мой зам и правая рука?» — «Эта та барышня в очках? Тоже мой друг. Нет, она лучше ваш друг, секретарша моего большого друга!» — «А молодой человек?» — вспомнил я про Нолика. «Это который сариками торгует? Это тоже мой друг. Цорт возьми, почему я не имею права иметь много друзей? Вы знаете, сколько я нахожусь в этом билдинге? Сорок три года. И все знают, что я всю жизнь помогаю людям».

Между нами не принято говорить о презренном металле, а говорим мы исключительно о дружбе и первого числа каждого месяца передаем друг другу приветы: Нолик — мне, я — Матвей Абрамовичу, Илья — ему же.

Вот в этот дивный уголок, в это царство добра и справедливости я и приглашаю своих многочисленных доброжелателей.

Джентльмены! Занавес поднят. Только три ступеньки вперед. Ну, что же вы стоите? Ах да! Я, кажется, понял: вас не устраивает клоунада. Вы хотите, чтобы все было серьезно и все по порядку. Я готов. Я уже начинаю...

Израиль

13 января 1973 года, примерно в девять вечера, приземлившись в тель-авивском аэропорту Луд, я совершил алию в Израиль и воссоединился со своим народом.

Взору моему открылась беспорядочная масса огней, вырвавшихся из тьмы. В ушах гремели восторженные крики моих национальных братьев, а в душе творилось нечто такое, чему я никак не мог найти объяснений. Я совершал если

даже не самый благородный, то уж во всяком случае самый логичный шаг в своей жизни, ибо все написанное и сказанное мной в последние месяцы сводилось к одной, пусть тавтологической, но от этого ничуть не менее разумной мысли: «Я еврей и потому должен жить со своим еврейским народом». И вот теперь, когда эта прекрасная в своей логической гармонии идея должна была осуществиться, я вдруг задумался над ее смыслом: а что это, собственно, значит — жить со своим народом?

О том, что я прибываю в Израиль, каждый час, ссылаясь на сообщения агентства Рейтер, передавали западные радиостанции. А фамилия моя неизменно сопровождалась словами как о моем прошлом (редактор «Литературной газеты»), так и о моем настоящем («известный борец за еврейскую эмиграцию»). Мне нравилось именоваться борцом. Во всяком случае куда больше, чем редактором «Литературной газеты», звание которого, пока я летел, мне присвоили корреспонденты Рейтер.

Я писал одно за другим письма, в которых требовал отпустить народ мой в Израиль. Моя статья «Размышления перед аукционом» появилась даже в «Нью-Йорк таймс». Я мечтал создать в Израиле новую еврейскую газету и не чувствовал лишь одного: что вместе с этими бесконечными письмами и статьями, сделавшими меня «известным борцом за алию», я все более отрываюсь от реальной жизни и начинаю жить в мире текстов. Тексты не могли стать реальностью, но реальность исчезла, а тексты оставались и уже сами начинали казаться реальностью.

И вдруг при виде огней Тель-Авива я почувствовал, что эта происшедшая во мне метаморфоза каким-то фантастическим образом начинает давать обратный ход: тексты переставали чего-то стоить, а реальность меня все меньше прельщала. В Луде не было ни цветов, ни грома фанфар, ни торжественных слов приветствия, а была лишь пахнущая в лицо духота и выплеснутая «Боингом» на летное поле толпа — с чемоданами, мешками, кошелками и Бог знает с чем, — растянущаяся от трапа «Боинга» до входа в небольшое деревянное строение, где шел прием новоприбывших в Израиль. Толпу встречали какие-то суетящиеся на летном поле люди, и на ходу что-то выясняли, и пытались навести хоть какой-то порядок в этом вывалившемся из самолета людском балагане. «Товарищи, граждане, евреи из СССР! Не устраивайте толкучки. Это же вам не Советский Союз».

Но все это был еще не театр, а только фойе. В фойе, у столов с жиденькими цветочками, каждому выдается сто лир и каждый подписывает вексель. Что эти сто лир выдаются в долг — о чем написано на иврите, — никто, разумеется, не имеет понятия. Подписывают, потому что так полагается, а именно, что с этой минуты имярек должен государству Израиль столько-то за билет, столько-то — за багаж, столько-то — за его страховку, столько-то — за это, столько-то — за то...

Из фойе — единственный выход в театр. А театр — это вовсе и не театр, а дощатая кабинка, где решалась судьба новых жителей Израйля. В кабинке командовал человек с прибалтийским акцентом, лица которого я не видел. «Я ж сказал, что нет Тель-Авива. Подпишешь или нет? Не желаешь Кирыт Шмоне — сиди до утра! Следующий! Хайфа, говоришь? Мама себя плохо чувствует? Ну, знаешь, друг, здесь все евреи! Может, все хочут в Хайфу. А вот нет Хайфы, а есть Афула! Не хочешь Афулу — сиди до утра!..»

Я дал интервью корреспонденту «Голоса Израйля» и вошел в театр-кабинку последним. Передо мной сидел рыжий с бычьей шеей лысеющий человек. Я хотел бы, читатель, чтобы вы запомнили эту фамилию (которую, впрочем, я и сам узнал много позже), так вот — Моше Гоц. Вы, конечно, слышали — Бен-Гурион, Голда Меир, Моше Шарет, Хаим Вейцман, Даян, Бегин, Сапир... Так вот, все они были никто рядом с рыжим рижским евреем Гоцем, подле которого висела огромная карта Израйля с горящими лампочками — центрами абсорбции, куда направлялись новые олим. «Оле» — происходит от слова «алия». «Алия» — это восхождение наверх, в Израиль, в Иерусалим, это подвиг возвращения, и, следовательно, новый оле — это подвижник. По этому поводу за столом с цветочками ему выдано даже специальное удостоверение «Теудат оле» — удостоверение подвижника, вернувшегося в Израиль. Гоц явно устал и рвется упростить процедуру.

— Куда хотели бы поехать? — спросил он. «Опять в Тель-Авив?» — прочитал я в его сардонической улыбке. «А вот нет Тель-Авива, а есть Афула!»

— А мне, собственно, все равно, посылайте туда, куда требуют интересы Израйля, — сказал я.

— Интересы кого? — медленно соображал Гоц, оглядывая меня подозрительным взглядом. «Это еще что за хохом?» — читал я в его глазах.

— Интересы Израйля, — ответил я.

— Вы кто — журналист? — переспросил меня Гоц. — Тогда пошлем в Ашкелон.

— А где это, Ашкелон? — теперь уже спросил я.

— А вот тут, — ткнул Гоц в карту, — морской курорт, пятнадцать минут езды от Тель-Авива...

Не знал рыжий Гоц, что спустя многие годы — уже кончилась алия, и евреи уже давно ехали в Америку — придет он на прием к моей жене в поликлинику Неве Шарет — старый толстый еврей, в котором жена вначале не узнает и вовсе всевластного наместника Сохнута в Луде. Она попросит толстяка раздеться и увидит его тело, дряблое, больное тело диабетика, исколотое инсулином и обсыпанное множеством фурункулов. Она откроет карточку больного и прочтет фамилию «Гоц», и не выдержит, напомнит ему, как он мучил новых граждан страны...

Гоц страшно смутится и скажет, что на свете нет тяжелее работы, чем с новыми олим, и лично для него не было страшнее времени, чем то, когда он сидел в Луде, что там-то он и заболел диабетом и вот теперь уходит на пенсию. Кто знает, может, и была своя правда в его, Гоца, словах, — но еврейский Бог не простил ему зла, нанесенного евреям, хотя и отправлял он их в центры абсорбции для «академиков».

Бейт-Бродецкий

А в Луд все прибывали и прибывали — казалось, над страной нависла опасность нашествия русских, в планах которых было вначале овладение центрами абсорбции в Тель-Авиве и Иерусалиме, а затем уже, согласно Ленину, почтой, телеграфом и телефоном. Но пока вернемся в Тель-Авив, куда, спустя две недели, я все-таки вырвался из Ашкелона с женой и дочерью, папой и мамой и куда всеми правдами и неправдами съезжались с периферии нахлынувшие в страну реформаторы из СССР.

Съезжались все в северный район Тель-Авива — Рамат-Авив, в гостиницу для новоприбывших Бейт-Бродецкий, набитую до отказа не помышлявшими ни о какой революции американскими евреями, евреями из Аргентины, Бразилии и прочих стран мира, ну и, конечно, некоторыми выходцами из Советского Союза. (Теми, что не имели за душой ни одной реформаторской идеи, но имели нечто другое, куда более важное, и что не раз выручало их еще там, на доисторической родине.)

О, Бейт-Бродецкий! Кого здесь только не было в ту счастливейшую пору эмиграции! Какие только языки и наречия не слышны были в его гудящем, как пчелиный улей, лобби! Каких только не было лиц! Каких только разрезов глаз! Каких только оттенков кожи! И какую надо было иметь фантазию, чтобы поверить, что все это были евреи!

У входа меня встречает мой старый знакомый еще по встречам у синагоги, бывший сотрудник «Голубого огонька» Марат Шатров. Он уехал на два месяца раньше меня и теперь уже выглядит настоящим саброй — не в туфлях, а в сандалиях, не в костюме (из валютного магазина), а в шортах, в одной батистовой и на волосатой его груди распахнутой рубашке.

Кто сказал, что мы эмиграция посредственностей, без собственного лица и собственных судеб? Я говорю не о диссидентах и подписантах (и уж, конечно, не о реформаторах!), а о молчаливом большинстве, и начинаю с Марата Шатрова.

За неделю до отъезда он пригласил меня к себе на важный разговор и сказал, что везет в Израиль атомную бомбу. Достал из подкладки костюма несколько мелко исписанных листков и, взяв с меня слово, что я умру вместе с прочитанным, вручил мне его для ознакомления. Бомбой оказалось открытое письмо сотрудника «Голубого огонька» Марата Шатрова председателю Центрального комитета радио и телевидения гражданину Лапину. Большая его часть была посвящена расправе, учиненной партийным черносотенцем Лапиным над журналистом Шатровым за его скромное желание уехать на историческую родину и воссоединиться со своим народом.

Автор не стеснялся в выражениях и в конце письма называл гражданина Лапина жидоедом и лизоблюдом, которого он глубоко презирает. Слава Богу, ничто его не связывает с погромщиком Лапиным — по приезде на историче-

скую родину он начинает новую жизнь, у него будет новый язык, язык его предков, на котором он всю жизнь мечтал писать и говорить.

Как только я закончил чтение, он препроводил бомбу туда, откуда она появилась, и тихо проговорил: «Я им, бле, покажу, кто такой Марат Шатров».

Увидев меня вылезавшего из кабинки, он бросился меня обнимать, затем обнял мою жену и дочь, затем — папу и маму и тотчас перешел к делу, то есть к освещению своей жизни в Израиле. Начал, естественно, с бомбы, которую повес в «Маарив» (в «Маариве» сидел кретин Диссенчик, ничего не смыслящий в журналистике), затем — в «Едиот Ахронот» (в «Едиоте» сидел еще больший кретин, который вообще не знал ни слова по-русски!), затем — в «Джерузалем пост» (где материал просто затеряли).

«Местечко и есть местечко,— язвительно улыбнулся Шатров,— но бомба взорвалась, и знаешь, где? В газете «Трибуна»! На первой полосе! Они у меня, бле, попляшут, плохо знаете, господа офицеры, Марата Шатрова!»

Уже выпив, Марат сказал, что на иврите пусть говорит эта сука Лапин, а он обойдется русским и уже даже нашел одну журналистскую фирму.

К Шатрову мы еще вернемся. А пока окинем еще раз взором Бейт-Бродецкий тех незабываемых дней.

Кто были его обитатели? Кто возьмется их описать? И хоть примерно очертить их круг, тем более их характеры, тем более борение страстей? Я вам, читатель, предоставляю судить, что происходило в их горячечных душах в те первые дни их жизни на своей исторической родине.

...Вот выходим мы из Бейт-Бродецкого с художником Барским, про которого говорят, что он был сыном академика Збарского, некогда забальзамировавшего Владимира Ильича Ленина, о чем, кстати, сам Лева Барский меньше всего любил распространяться.

...Ну так вот, выходим мы из Бродецкого с художником Барским. На нем европейского покроя исключительно изящный бархатный пиджак, купленный по дороге в Израиль в Париже, на Елисейских полях. Ко мне он всегда обращается своим прокуренным и простуженным голосом с одним и тем же: «Пойдем, Перельман, напротив, посидим, кофейку выпьем». К Израилю отношение у Барского двойственное. Иногда (как правило, по утрам): «Ох хорошо! Ох тепло! Солнышко светит!» А иногда (чаще по вечерам): «Ну и идиот, нашел куда приехать и, главное,— уже был в Париже, и вот, пожалуйста, прибыл, чудак, на родину предков».

Я бы уже перешел к другим обитателям Бродецкого, если бы не угораздило меня стать его гарантом в сохнутовском банке «Идут», и потому время от времени меня вызывали в суд. И тогда я ехал на улицу Анны Франк и барабанил изо всех сил в двери Барского — разбудить Барского до двенадцати дня было делом абсолютно безнадежным, но я все-таки добуживался, и отправлялись мы вместе к нашему единственному на весь Сохнут ангелу-хранителю Аленбойгену и плакались ему в жилетку. Аленбойген звонил в банк «Идут», и дело из суда изымали под честное слово Барского уплатить до последнего агорота.

Барский был рыцарем и человеком слова, но он начисто утрачивал эти благородные качества, как только заходила речь о долгах Сохнуту. И дело снова шло в суд, и снова я ехал на улицу Анны Франк, и снова мы шли к Аленбойгену, пока все это не надоело Барскому, и не уехал он в Нью-Йорк, и не поселился в Сохо. Что он делает? Готовится к выставке и гуляет со своими любимыми двумя собаками и наслаждается жизнью в Сохо, впрочем, кто его знает, что он делает.

Заранее предвижу ваш упрек, что пропускаю я добродетели и их носителей мимо внимания (пусть себе ходят в ультрапан, учат иврит, морочат голову сохнутовским чиновникам) и задерживаюсь на всякого рода странных лицах, которых иной добропорядочный автор не удостоил бы внимания. Но, поверьте, я это делаю не из желания оригинальничать, а из желания следовать правде, ибо эти лица и нарушали весь плавный ход эмиграции и вообще плавный ход жизни. А главное, они отравляли существование тем бескорыстным идеалистам, которые решили отдать себя без остатка делу еврейской эмиграции. Об этих идеалистах у нас опять-таки речь еще впереди, а пока — о горячечных душах Бейт-Бродецкого.

Начну с того, что душной июльской ночью в Бейт-Бродецкий ворвался наряд полиции и сразу же поднялся в номер к знаменитой пианистке Софе Лазебниковой. И тотчас выяснилось, что Лазебникова в этом номере уже давно не жила,

а проживает здесь некий стареющий блондин с чисто славянской наружностью, по имени Коля Рогожников. Его поведение и послужило поводом для прихода полиции в этот интеллигентнейший из отелей Тель-Авива. Как выяснилось, из номера Рогожников почти никогда не выходил. Единственным, с кем он поддерживал контакт, был уже упомянутый Марат Шатров. И, кроме него, никто не знал романтического прошлого Рогожникова, что был он танцором Краснознаменного ансамбля песни и пляски имени Александрова и по какой-то малопонятной причине был вывезен пианисткой Лазебниковой на ее историческую родину, где и оказался предоставлен сам себе. Ну а дальше вы, читатель, и сами, верно, догадываетесь, каким способом утолял свою истомленную душу бывший танцор Краснознаменного ансамбля песни и пляски Коля Рогожников, оказавшись на исторической родине своей жены Софы Лазебниковой.

Самое страшное произошло в предрассветный час, когда к Бейт-Бродецкому подкатил старый гигантский «бьюик» и из него вылезли странного вида евреи и пытались по канату взобраться в номер к Лазебниковой. Все тут было окутано мраком, за исключением того, что в предрассветный час танцору ансамбля имени Александрова оказалось нечем уплатить честно отработавшей свое девушке. И последней не оставалось ничего другого, как вызвать на помощь своих товарищей с тель-авивского Плац-Пигаля — улицы Аяркон.

Скажите, что бы сделали с танцором Рогожниковым в любом цивилизованном государстве — об СССР я не говорю, — ну, скажем, в Нью-Йорке: если бы это произошло даже в каком-нибудь третьестепенном Грейстон-отеле? Наверное, его как минимум оштрафовали бы или выселили бы из гостиницы, а то бы и депортировали как не имеющего никаких документов.

В Бейт-Бродецком Рогожникова вызвали на беседу к доктор-Клингер. И далее я не могу просто продолжать, не сказав хоть несколько слов о доктор-Клингер. Выше я упомянул о добровольцах-идеалистах, так вот, в Бейт-Бродецком они были представлены доктор-Клингер. Сказать про доктор-Клингер, что была она блондинка низенького роста, в очках, делающих ее похожей на классную даму, — значит ничего не сказать. Ибо к тому же она была полковником в отставке Британской армии и ходила такой властной походкой, что можно было принять ее и за генерала в отставке. Особенно когда утром подъезжала в своем «пежо» к Бродецкому и, сопровождаемая своим бессловесным мужем, направлялась в кабинет к его директору — добряку и симпатяге Мотке.

Если Мотке был администратором, хозяйственником Бейт-Бродецкого, то доктор-Клингер была его идеологом и комиссаром. И если к этому добавить, что всю свою комиссарскую деятельность она осуществляла исключительно на волонтерских началах и, следовательно, не боялась никого на свете, то можно представить, в сколь нешуточном положении оказывалась любой, за кого принималась доктор-Клингер, к тому же еще и говорившая по-русски.

Одним из первых, кто попал в поле ее зрения, был Марат Шатров. Оказавшись в «Трибуне», он обрушил всю силу своего темперамента против правящей Рабочей партии, членом которой (или, может быть, она ей явно сочувствовала) была доктор-Клингер.

В «Трибуне», как некогда в нашей многотиражке «За отличный рейс», всегда ощущался дефицит с материалами, и Марат, ее единственный литсотрудник и политический обозреватель, мог себе позволить не особенно стесняться в выражениях.

— Господин Перельман,— встречала меня по утрам доктор-Клингер,— вы мне можете объяснить, что представляет собой этот Шатров? Он вообще еврей? Вы читали, как он ужасно выражается в этой своей газетенке? Как вам нравится его вчерашняя статья «Рука руку моет»? Объясните мне, что это значит — «рука руку моет»? Это так говорят в теперешней России? Я первый раз слышу! А вы читали его статью «Партийный жучок»? Это он так пишет о Бен-Меире — одном из первых людей партии. У всех у него «рыло в пушку», все какие-то бандиты и жулики. Его послушать — так неизвестно, как мы выиграли три войны. Вы, кстати, не знаете, где он раньше служил? Говорят, на телевидении. Можно себе представить, что это за телевидение, если там работают такие, как Шатров!

Но особенно доктор-Клингер была возмущена скандалом с Рогожниковым, который не заплатил проститутке с улицы Аяркон. «Нет, как вам все это нравится, господин Перельман?! Мало у нас в Бейт-Бродецком своих цоресов, нам еще

не хватало проституток с Аяркона. Это же надо додуматься — привести среди ночи в отель для новых олим! Между нами говоря, только гой себе мог это позволить. Вы, кстати, не знаете, кто он был там, этот Рогожников? Говорят, какой-то артист, танцор — я очень знаю, чем они там все занимались...»

Впрочем, после личной беседы с Рогожниковым доктор-Клингер несколько смягчилась и даже пошла хлопотать к Мотке, чтобы его не выселяли.

— Вы знаете, господин Пэрэльман, он у меня был сегодня, этот ваш танцор. Он, оказывается, пьет водку! Говорят, они выпивают с этим Шатровым. Вы что-нибудь слышали об этом? Я его спросила: «Как же это все получилось у вас, господин Рогожников, с этими женщинами легкого поведения?» А он: «бе-е, ме-е, сам не знаю». Тогда я ему сказала: «Знаете что, господин Рогожников, мы с вами не в детском саду — так это, кажется, у вас называется — или будем говорить откровенно, или не будем говорить вообще». Так вы знаете, что он мне рассказал? Что он вообще не хотел никуда уезжать! Но, оказывается, у него от первой жены трое детей, и она его так преследовала с алиментами, что он решил жениться на этой Лазебниковой и уехать в Израиль. Ну, как вам это нравится? У нас мало своих цоресов! Я его спросила: «А что вы, господин Рогожников, собираетесь в Израиле делать?» И что же он мне ответил? Вы не знаете, что он мне ответил. Он сказал, что хочет создать национальный израильский балет! Нет, как вам нравится этот хохом! Я сказала: «Послушайте, господин Рогожников, но ведь на это нужны средства». Так он мне отвечает: «А Сохнут на что, доктор-Клингер?» Вы знаете, что я решила? Позвонить Нехемии: пусть они что-нибудь с ним решают...

Бедная, наивная доктор-Клингер — хоть и служившая в некие романтические времена полковником Британской армии, — что она могла знать о происходящем в горячечных душах новых олим из СССР! Вот это ее незнание, ее наивность и романтичность устремлений и были оплачены черной неблагодарностью некоторых новожителей Бейт-Бродецкого.

Она переживала о заблудшей душе бывшего танцора ансамбля песни и пляски Рогожникова, ей не давало покоя поведение бывшего сотрудника «Голубого огонька» Марата Шатрова.

Но не от них получила доктор-Клингер удар, после которого она — бывший полковник Британской армии — слегла на несколько дней, а от нового оле из Одессы, бывшего чемпиона по вольной борьбе УССР Петра Мосолова, эпопею которого, взявшись за описание нашей эмигрантской одиссеи, я просто не вправе опустить.

Среди всех постояльцев Бродецкого, точнее, среди всех посидельцев расположенного возле его крыльца скверика, это была, может быть, самая тучная и самая трагическая фигура. С утра до вечера он забивал на скамеечке козла с такими же, как он, постояльцами, отчаявшимися постигнуть язык предков и потому не ходившими в ульпан. И однажды заговорил со мной и Барским, когда мы спускались с крыльца Бродецкого отпить в кафетерии Рабиновича напротив по чашечке кофе.

Он тоже спускался с крыльца в это знойное тель-авивское утро. Было в нем, наверное, килограммов сто веса. Возраст неопределенный, лет пятидесяти, может, пятидесяти пяти, лицо красное — то ли алкоголика, то ли сердечника, — и вот, поравнявшись с нами, он, язвительно улыбаясь, спросил: «Ну, как, мужики, родина предков?» Барский, тотчас уловив язвительность, ответил: «А что — прекрасно! Солнышко! Хорошо!» — «Да, солнышко, ядрена вошь, — улыбнулся странной улыбкой толстяк, — а то у меня там не было солнышка. Вы откуда сами-то будете? Из Москвы? Ну, может, у вас в Москве и хреновато было, а чего, скажите, мне, старому, не хватало? Вам, думаю, и не снилась такая жизнь, какая у меня была в Одессе. Перед каждым матчем лично зампредисполкома Скобликов Иван Иванович звонил: «Петь, а Петь, может, тебе чего нужно, ты только скажи, Петь, все достанем...» А Петя под старость выдал им такого куража с корицей — на историческую родину отвалил. Иван Иванович лично перед отъездом вызывал — я уж никто был, тренер в школе, а все равно — сколько вместе выпито, сколько баб совместно катапультировано! Вот он и говорит: «Петь, а Петь, ну какой ты сионист, взгляни на себя в зеркало!» А я, старый чудак, свое: «Хочу воссоединиться со своей тетей в Тель-Авиве». Во, мужики, в какие дела влопался!»

С этого монолога и началось наше знакомство. Ну, а что Пиня говорил доктор-Клингер, этого никто не знал. Известно только, что что-то в ней дрогнуло, растаяло, когда она узнала про судьбу чемпиона по вольной борьбе Мосолова. Однажды, встретив меня, она, совершенно расстроенная, сказала: «Вы слышали, господин Пэрэльман, какое несчастье с нашим боксером: инфаркт! Увезли вчера ночью в больницу Хадаса». Доктор-Клингер знала, что приложит все силы для того, чтобы пристроить нового оле из Одессы куда-нибудь физруком в кибуц: «Не думайте, господин Пэрэльман, что там так уж его ждут. Подумаешь, чемпион! Когда он был чемпионом! А сейчас старый больной еврей, да еще с гипертонией. Но я все это объяснила Нехемии, что, если б он был молодой, как этот дебошир Шатров, так я бы не стукнула и палец о палец. Но старый больной еврей с гипертонией и инфарктом — да мы просто обязаны ему помочь!»

Бедная, наивная идеалистка доктор-Клингер! Откуда было ей знать, что еще до злополучного своего инфаркта Пиня просиживал ночами в своем номере и строчил длинные простыни, которые отправлял с ближайшей почты в СССР заказными с уведомлением о вручении.

Первыми же обо всем узнали мы с женой, когда однажды, выходя из Бейт-Бродецкого, встретили исхудавшего после инфаркта и на десять лет помолодевшего от разрывавшей его радости Пиню.

«Какая у меня, мужики, весть, какая весть!» — причитал он, даже не обратив внимания, что мужик среди нас с женой был только один. «Что, работу нашли? — воскликнула жена. — Где, в каком кибуце?» — «Работу? — странно усмехнулся Пиня. — Нужна мне эта ихняя работа, на ихнем сраном солнышке...» И, набрав в легкие побольше воздуха, он сообщил, что решением Президиума Верховного Совета ему разрешено вернуться в СССР.

Рувен Веритас и другие

В 73-м году я считал себя еврейским активистом — я голодал на телеграфе и рвался в Израиль, чтобы вместе с такими же, как я, перестраивать страну. В 83-м я этому улыбаюсь, как улыбаются взрослые люди при воспоминании о своих детских забавах.

Я живу в стране высшей цивилизации и выпускаю популярный на Западе русский журнал. Но отчего же так тянет меня в это мое давно покинутое детство? Именно по этой причине я делаю сейчас отступление и, погрузив свои манатки в пятисотместный «Боинг» израильской фирмы «Эл-Ал», совершенно натурально, со скоростью восемьсот миль в час лечу назад в 1973 год. И снова, как когда-то, вырываются из тьмы огни Тель-Авива, и снова рисую я первые минуты встречи, и рвутся из души полувнятные, восторженные слова...

Естественно, первое место, где я появился, был Бейт-Соколов.

Бейт-Соколов — это израильский Дом журналиста. Здесь самое знаменитое в Тель-Авиве кафе, но это еще не главное. Бейт-Соколов — это место встреч министров, газетчиков, бизнесменов, генералов, чиновников, влюбленных, любовников... В Бейт-Соколов состоялась моя первая встреча и первое знакомство с человеком из легенды Рувеном Веритасом.

Читатель, естественно, спросит, кто же такой Рувен Веритас. В прошлом боец литовской дивизии, а ныне майор израильских вооруженных сил.

Если можно себе представить теневой кабинет при министерстве абсорбции, то его как раз и возглавлял Рувен Веритас. От всех теневых кабинетов мира он отличался тем, что хотя и находился в тени, но не имел никакой абсолютно власти, кроме прав названивать Шлеме Розе и требовать от него помощи еврейским знаменитостям из СССР.

По субботам Веритас появлялся у меня в гостях в Бейт-Бродецком. Почему-то всегда без своей жены Рути, но всегда нагруженный яствами: фисташками, бананами, шоколадом.

Однажды Веритас привез с собой в Бродецкий самого Шлему Розе, который оказался пресимпатичным старичком с большой седой шевелюрой и тяжело передвигающимися ногами. К его приезду наш номер был набит до отказа — пришли дочери Михоэlsa — Тала и Нина — и его внучка Виктоша, и писатель Изя Йонас, и Шатров... На председательском месте, подобно старенькому китайскому божку, восседал Шлема Розе и, накладывая себе всякой снеди, не

прекращал пить за успехи новой алии. По правую руку от него сидел писатель Изя Йонас, а по левую — Лева Барский. Он говорил все обратное тому, что пытался утверждать Йонас, и всячески защищал Шлему Розе от его нападок.

Впрочем, Шлема не только ел и пил, он еще извлекал из своего бокового кармана записную бумажную книжечку и что-то в ней помечал.

Первой взялась за замминистра Тала Михоэлс, которая без всяких обиняков стала у него допытываться на идише: «Послушайте, Шлема, можно, я задам вопрос? Только прошу не обижаться. Мы сегодня выпили, и я по-простому. А вопрос у меня такой: почему ваши подчиненные все время зрут новым олимам? Зицер врет, Шварцман врет — все зрут!»

Шлема начал беспомощно озираться, явно не ожидая такого напора. Он снова записал что-то в свой кондуит. Затем припал к уху Веритаса, и тот перевел: «Господин Розе сказал, что мы пришли сюда не ругаться, а искать пути для сотрудничества, и потому он предлагает тост за присутствующих здесь новых олим из Советского Союза». — «Пра-ль-но!» — гаркнул из самого дальнего угла Шатров, а Шлема, придвинув к себе тарелку с фаршированной рыбой, вскинул стопку, которая, пока он ее вскидывал, наполовину разлилась, но вторую половину он все-таки допил, а допив, сказал, что он не хочет больше сегодня заниматься делами, а хочет праздновать и веселиться с такими хорошими людьми, которые оказались в этой комнате.

— Лейхам! — уже с трудом поднял руку Шлема Розе и что-то шепнул Веритасу, который сразу же перевел:

— Господин замминистра хочет сказать тост.

Шлема медленно поднялся и заговорил, а Рувен продолжал переводить: «Господин Розе сказал, что он прежде всего протестует против того, чтобы его называли господином, и просит называть его товарищем, поскольку он принадлежит к лево-социалистической рабочей партии МАПАМ. Ему также было бы приятно, чтобы и все присутствующие называли друг друга товарищами, и он думает, что это не составит им большого труда, поскольку все они выросли в стране социализма, и хотя он, Шлема Розе, против такого социализма, но он, как кибуцник, никак не против слова «товарищ», а, наоборот, считает, что все, кто здесь собрался, и есть настоящие товарищи».

— Ну уж это дудочки, — снова отозвался Шатров. — Гусь свинье не товарищ!

— Что он сказал? — спросил Розе у Рувена вдруг на идише.

— Что он сказал! Тебе, Шлема, это очень важно знать! Шмок! — сверкнул Веритас в сторону Шатрова.

И Шлема, добродушно улыбаясь, снова попросил его переводить. «Товарищ Розе хотел бы воспользоваться случаем, чтобы пригласить всех присутствующих на вечер в клуб партии МАПАМ «Цафта». На повестке дня — будущее израильского социализма, а затем концерт израильских артистов».

— Bravo! — закричал Шатров. — Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

— Что он сказал? — снова почему-то на идише обратился Розе к Веритасу.

— Он сказал: пролетарии всех стран, соединяйтесь! — засмеялся Веритас. — Послушай, Виктор, откуда этот шмок? — обратился ко мне Рувен и, не дождавшись ответа, выкрикнул: — Друзья, я предлагаю тост за нашего дорогого гостя, товарища Шлему Розе!

Свободный мир

Всякий раз, когда я возвращаюсь из Израиля в Нью-Йорк, мне кажется, что в мое отсутствие перевернулся мир. Но, переступив порог редакции, я тотчас устанавливаю, что никаких судьбоносных изменений не произошло. Так было и на этот раз. Встретившая меня солнечной улыбкой моя правая рука и зам не замедлила сообщить, что Гилдесман уже три раза передавал мне привет. А накануне не без волнения в голосе даже поинтересовался, не случилось ли чего-нибудь в Израиле с его другом господином Виктором.

На своем письменном столе я обнаружил толстую рукопись. Открыв папку и увидев вложенные в нее 250 австрийских шиллингов, я сразу понял, кто ее автор.

Австрийские шиллинги для оплаты ответов высылал только один наш корреспондент, чье первое произведение я получил лет двадцать пять назад, когда работал в журнале «Советские профсоюзы». Это были «Заметки новатора»,

которые прислал ударник Харьковского тракторного завода Николай Борисов. Я хотел от его шедевра отбиться, но он обратился к председателю ВЦСПС Виктору Васильевичу Гришину, и из канцелярии Гришина пришла резолюция: «С каких это пор в нашем профсоюзном журнале не может напечататься рабочий человек?»

Перейдя из «Советских профсоюзов» в «Литературную газету», я, разумеется, забыл о существовании Николая Борисова и столкнулся с ним, точнее, с одним из его произведений, уже в Израиле, будучи редактором журнала «Время и мы».

Однажды, просматривая утреннюю почту, я обнаружил в ней нечто такое, до чего не могла бы подуматься никакая фантазия. Да, это был он, наш броневой автор Николай Борисов: «Дорогой Виктор Борисович! Наконец-то я вас разыскал. Пишу вам из Вены...»

Нет, джентльмены, я не случайно назвал эту вещь «Театром абсурда». Ибо скажите попожа руку на сердце, в каком еще театре вы могли бы увидеть, что прославленный ударник, на которого равнялись восемьсот тысяч читателей «Советских профсоюзов», в прошлом окажется — кем бы вы думали? — Наумом Лифшицом. Борисовым же он стал после отсидки, дабы ударным трудом искупить прошлое. Но при первой возможности наш рабкор эмигрировал. И из Вены вместо скромных «Записок новатора» прислал килограмма на два «Записок бывшего троцкиста».

Далее началось примерно то же самое, что в Москве. Правда, на этот раз с обратным результатом. Из редакции в Вену последовал отказ. Из Вены в редакцию — новый вариант. Из редакции в Вену — новый отказ. Но пробиться в журнал без помощи профсоюзной общественности нашему автору так и не удалось.

— Да что же это такое, чтобы на Западе негде было напечататься рабочему человеку! — возмутился он в конце концов.

По наивности я думал, что это его последнее письмо, я плохо знал неукротимый дух этого человека.

Как ни в чем не бывало он писал мне теперь в Нью-Йорк: «Дорогой Виктор Борисович! Ах, как я рад, что мне снова удалось вас разыскать! Я даже не знал, что вы переехали в Америку, о чем мне любезно сообщили товарищи из «Русской мысли».

Далее он писал, что лишь на Западе понял, что литературой нельзя заниматься между прочим. И только сейчас, выйдя на пенсию, сможет наконец всецело отдать себя делу всей своей жизни — воспоминаниям бывшего троцкиста. И, как старого товарища, он меня просит ознакомиться с новым вариантом, который хочет напечатать только в журнале «Время и мы». «Вы же знаете, как я люблю ваш журнал, просто сердце болит, когда видишь, что люди не хотят подписываться».

После двенадцатичасового перелета из Израиля в Америку я не имел понятия, что написать нашему старому рабкору, в котором ключом бьет энергия и который так много лет связан с журналом.

И вдруг меня осенила идея — предложить ему статью уполномоченным по подписке на «Время и мы». Неясно было только, что делать с четвертым вариантом «Записок бывшего троцкиста».

— Вы что же, не хотите это даже прочесть? — воскликнула моя правая рука и зам. — Ах, какое неуважение к труду автора!

Спорить не было сил. И тут возникла еще одна гениальная идея — поручить моему заму вступить с новым уполномоченным в личную переписку и совместными силами дотянуть «Записки бывшего троцкиста».

— Но это уже слишком! — возразила она. — Что, у меня другой работы нет?

— Нет, не слишком, — теперь уже стоял на своем я. — В конце концов это действительно безобразие, чтобы на Западе негде было напечататься рабочему человеку!

(Окончание следует.)